

Срока давности не имеет: что помнят ленинградцы- блокадники и как они делятся своими воспоминаниями¹

ДЖЕФФРИ
ХАСС

О значимости блокадных воспоминаний и их передачи

Блокада Ленинграда остается грандиозной гуманитарной катастрофой, вызывающей неослабевающий интерес ученых к целому ряду сюжетов и тем. В их ряду практики выживания в экстремальных условиях, поддержание политического порядка и функционирование властной системы в тисках жесточайшего внешнего давления, специфические механизмы конструирования смыслов, разнообразные стратегии адаптации, а также попытки реконструировать то, что на самом деле произошло за 872 блокадных дня². Это был травма-



- 1 Статья написана специально для «НЗ». Редакция благодарит Юлию Крутицкую за помощь в подготовке материала к публикации. – *Примеч. ред.*
- 2 Обзор основных направлений исследований, посвященных блокаде Ленинграда – на русском и английском языках, – см. в: Ломагин Н. *Неизвестная блокада*. СПб.: Нева, 2002. Кн. 1; Он же. *В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах немецких спецслужб и НКВД*. СПб.: Аврора-Дизайн, 2014; Соболев Г. *Ленинград в борьбе за выживание в блокаде: В 3 т.* СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2013, 2015, 2017; Яров С. *Блокадная этика: представления о моральном духе в Ленинграде в 1941–1942 гг.* СПб.: Нестор-История, 2011; BIDLACK R., LOMAGIN N. *The Leningrad Blockade, 1941–1944: A New*

ПОСЛЕДНЯЯ
МИРОВАЯ?
К 80-ЛЕТИЮ
ЗАВЕРШЕНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ

ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...

Джеффри Хасс (р. 1967) – американский социолог, специализируется на изучении блокады Ленинграда, войны, насилия и постсоциализма, профессор кафедры социологии и антропологии Университета Ричмонда (Вирджиния, США).

тичный и драматичный опыт, в котором масштабные страдания гражданского населения и урон, наносимый германским насилием, массовой смертностью и управленческими просчетами (например сбоями в эвакуации и снабжении, особенно в 1941 году) соседствовали с новаторскими решениями ленинградцев, обеспечивавшими им жизнестойкость и выживание в немыслимых условиях.

Будущему памятованию блокады предстояло стать нелегким делом³. С одной стороны, оставшиеся в живых жаждали общественного признания перенесенных ими страданий, добываясь особого отношения как к тем, кто смог преодолеть ужасающие испытания, так и к тем, кто сгинул в них. Блокадники действительно увековечивали долгую осаду города в своих личных традициях, историях, воспоминаниях. Но, с другой стороны, публичное увековечение памяти о блокаде было сопряжено с трудностями. Ведь прославление живых и мертвых ставило перед социумом сложные вопросы – прежде всего о том, почему погибших было так много, а также почему все произошедшее оказалось настолько ужасающим. Главными виновниками трагедии Ленинграда, безусловно, оставались немцы, хотя они были не единственными, от кого зависели масштабы этой беды. Братские могилы, напоминая нам, насколько обильной была жатва смерти, сами по себе не предлагают никаких ответов. В СССР официальная историография признавала гигантский масштаб трагедии, но при этом настаивала, что советский народ вопреки тяжелейшим испытаниям мужественно сохранял единство и продолжал героически сопротивляться врагу под руководством коммунистической партии и советского правительства. Одновременно она старалась обходить стороной бюрократические провалы и коррупционные безобразия, усугубившие бедствия, которые обрушились на блокадный Ленинград⁴.

Распад СССР, отмена цензуры и открытие архивов позволили исследователям, не связанным более «генеральной линией», воссоздать более полную историческую картину. Но сказанное касалось только академической среды, и поэтому естественно задуматься: а каким же предстает само бытование памяти –

Documentary History from the Soviet Archives. New Haven: Yale University Press, 2012; HASS J.K. *Wartime Suffering and Survival: The Human Condition under Siege in the Blockade of Leningrad, 1941–1944*. New York: Oxford University Press, 2021; PERI A. *The War Within: Diaries from the Siege of Leningrad*. Cambridge: Harvard University Press, 2017.

3 О политическом значении блокады см.: KIRSCHENBAUM L. *The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995*. New York: Cambridge University Press, 2006; MADDOX S. *Saving Stalin's Imperial City: Historic Preservation in Leningrad, 1930–1950*. Bloomington: Indiana University Press, 2014. Начиная с 1991 года тема политического использования памяти о блокаде все чаще поднимается в публичном поле, хотя подобные исследования носят менее систематический характер.

4 См., например: ПАВЛОВ Д. *Ленинград в блокаде*. Л.: Лениздат, 1985; МАНАКОВ Н. *В кольце блокады. Хозяйство и быт осажденного Ленинграда*. Л.: Лениздат, 1961.

иначе говоря: как обычные люди вспоминали, осмыслили и передавали произошедшее в те памятные 872 дня? Здесь перед нами возникает важнейший вопрос о природе коллективных нарративов и коллективной памяти. Хотя ни одно историческое описание не может быть абсолютно точным и исчерпывающе полным, существуют различные степени квазиобъективности. Если одну крайность представляет откровенный вымысел, то другую – искреннее стремление индивида максимально сблизить собственные убеждения с реальностью. Между этими крайностями пребывают различные градации сознательного или бессознательного выстраивания восприятий и наблюдений в целостный нарратив – причем подобное воссоздание событий, наличествующее лишь в человеческом сознании, способно исказить реальность, произвольно схематизировать ее.

ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...

**Главная трудность, возникающая при изучении
блокадных дневников, которые были написаны
в эпоху Сталина и НКВД, связана с выяснением того,
до какой степени ленинградцы, подвергавшие себя
самоцензуре в силу страха или обычая, подгоняли
образ пережитого под официальный дискурс.**

Главная трудность, возникающая при изучении блокадных дневников, которые были написаны в эпоху Сталина и НКВД, связана с выяснением того, до какой степени ленинградцы, подвергавшие себя самоцензуре в силу страха или обычая, подгоняли образ пережитого под официальный дискурс или как-то иначе использовали конструируемые нарративы в статусных целях⁵. (Эта проблема, кстати, присуща не только блокаде – она возникает в любых контекстах, где властные отношения асимметричны, а сильные мира сего стремятся навязывать остальным те или иные трактовки и картины реальности, отвечающие их корыстным интересам.) В какой степени свидетельства очевидцев-блокадников являются точными, а в какой искаженными – будь то из боязни сказать правду или в силу поддержки режима и его идеологии? Ведь и то и другое могло задавать стимулы, побуждающие корректировать личные нарративы произошедшего. Внесение ясности в эту тему способствовало бы более четкому пониманию природы советской власти, большевистской субъектности и личностной автономии в сталинскую эпоху.

5 См.: PERI A. *Soviet Diaries of the Great Patriotic War* // *Revue belge de Philologie et d'Histoire*. 2020. № 98. P. 691–714.



ЛОГИКИ ПРИПОМИНАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ

В этом эссе исследуются установки, которыми руководствовались выжившие блокадники, выбирая, что рассказывать о блокаде – и как о личном опыте, и как об историческом событии. Вместо анализа сугубо содержательной стороны воспоминания (*remembering*) как такового я скорее сосредоточиваюсь на процессе припоминания (*recollecting*) и трансляции воспоминаний (*relaying*) как на более активных и взаимосвязанных формах работы с прошлым. Если под *припоминанием* имеется в виду сознательный поиск в памяти определенных моментов и сюжетов, то *трансляция* подразумевает передачу продукта, получаемого таким образом, другим людям. Посредством припоминания и последующей трансляции субъекты создают нарративную линию – подборку информации, специфическое структурирование которой позволяет наделять события смыслом в глазах других людей. Этот процесс открывает возможность для фрейминга самого события, а также для обозначения роли в нем субъекта или выстраивания по отношению к нему субъективной идентичности.

Что же предпочитают вспоминать и рассказывать люди, пережившие блокаду? Из их повествований можно узнать об интериоризированных нормах, идентичностях и власти: о правилах допустимого и запретного в речи, отсылающих к советским и постсоветским практикам властвования и легитимности; о личных идентичностях (среди них «ленинградец», «блокадник», «советский гражданин»), не всегда сочетающихся между собой, что естественно для нарративов, которые исходят от людей, пытающихся наделить свой жизненный опыт смыслом; о власти, реализуемой в виде навязанной режимом персональной субъектности, которая насаждается через генерируемые им версии исторических событий и места человека в истории.

Между тем поколение непосредственных свидетелей блокады сходит со сцены. Какая-то часть их воспоминаний и переживаний сохранилась в дневниках, остающихся в архивах или опубликованных потомками. Собрания коротких мемуаров печатались в виде отдельных изданий; например, материалы, послужившие Даниилу Гранину основой для «Блокадной книги», хранятся в одном из петербургских архивов⁶. Увы, многие из этих свидетелей истории ушли из жизни еще до того, как ученые смогли зафиксировать их воспоминания с помощью строгих методик. Вместе с тем некоторые из переживших блокаду в детском или подростковом возрасте оставались в живых и

6 Адамович А., Гранин Д. *Блокадная книга*. М.: Советский писатель, 1982. Материалы, послужившие основой для этой книги, включая интервью и некоторые дневники, остаются (или были) доступными в фонде 107 Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.

после 2000 года, когда Европейский университет в Санкт-Петербурге запустил специальный проект по устной истории, в ходе которого записывались их воспоминания. Настоящая статья опирается на эти материалы. Интервьюируемые либо сами восстанавливали отдельные аспекты былого опыта, либо выступали в качестве косвенных свидетелей, узнававших о происходящем от родителей, родственников или других старших⁷. И хотя интервьюеры порой использовали вопросы и подсказки, призванные уточнить отдельные моменты повествования или подтолкнуть к дальнейшему погружению в тему, по большей части они позволяли респондентам самостоятельно выбирать значимые для них сюжеты и детали – следуя тем самым квази-фуколдианской логике, согласно которой повестку задают сами субъекты.

В упомянутых методах имеются некоторые проблемные аспекты, которые необходимо учитывать. Во-первых, предоставление респондентам свободы в выстраивании нарратива влечет за собой то обстоятельство, что последний может меняться в зависимости от эмоционального состояния интервьюируемого. Иначе говоря, в один день он может вспоминать один событийный ряд, а в другой – совершенно иной. Более структурированные интервью даже при сохранении открытого характера вопросов следуют логике, которую задает специалист; они позволяют сравнивать разные интервью для выявления нарративных стратегий и фактических деталей (например посредством анализа того, как именно интервьюируемые отвечают на вопросы). Подход, использованный в рассматриваемом здесь устном проекте, лишает нас такой аналитической возможности.

Во-вторых, проблемой оказывается значительная временная дистанция. Блокадные дневники создавались непосредственно во время описываемых в них событий. Интервью конца 1970-х (например, собранные Даниилом Граниным) отделяли от войны лишь три десятилетия. Воспоминания же, оставленные в 1990-е, содержат, как правило, меньше деталей, поскольку прошло слишком много времени, и скорее являются попытками запечатлеть важные для памяти мемуариста «большие» темы: взаимопомощь в выживании, героизм в условиях лишений, человечность и сочувствие. (Насилие, сопутствовавшее блокаде – например эксцессы каннибализма, – в этих поздних мемуарах упоминается гораздо реже.)

В-третьих, трудность заключается и в том, что многие из респондентов в блокадные годы были детьми или подростками. Они находились в переходном состоянии между детством,

ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...

7 Предисловие // *Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества* / Под ред. М. Лоскутовой. М.: Новое издательство, 2006. С. 7–9.

с присущими ему ограничениями в ответственности, в способности осознать происходящее и реагировать на него, и взрослой жизнью, когда подобные навыки, как правило, уже сформированы. Даже если в годину испытаний они выросли быстрее обычного, это не делало их субъектами самостоятельных решений: у них еще не было для этого ни юридических прав, ни социальной санкции, они не имели должного жизненного опыта и не до конца сформировали навыки наблюдения и осмысления. Сказанное не означает, что эти люди во время блокады оставались пассивными и не обладали субъектностью. Детям, чтобы выжить, тогда приходилось быстро взрослеть, а грандиозная травма, очевидцами и жертвами которой они оказались, лишала их какого-либо подобия детства в нынешнем его понимании. Согласно некоторым исследованиям, дети, оказавшиеся в сложных ситуациях, могут быть изобретательными, находчивыми и стойкими; например, дети иммигрантов в США выступают посредниками между своими семьями и социальными институтами, помогая родственникам ориентироваться в структурах неравенства и институционального расизма⁸. Однако, нисколько не умаляя переживаний и поступков детей блокадного Ленинграда, следует подчеркнуть, что в контекстах крайнего напряжения и предельной неопределенности им довольно редко приходилось самостоятельно анализировать информацию и принимать ответственные решения, чему они только-только начинали обучаться⁹. (В подобных обстоятельствах, впрочем, и многие взрослые были бы не слишком компетентными.)

В качестве поясняющего примера сошлюсь на участвовавшего в проекте Европейского университета Вадима Номоконова (BL-1-001)¹⁰, которому в 1941-м исполнилось четыре года. В ходе интервью он отмечал специфику детского восприятия происходящего: мальчику казалось, будто он находится не внутри переживаемой ситуации, а за ее рамками:

«Про героическое я ни в коем случае не говорю, потому что нет осознания реальной опасности в менталитете ребенка, вот это как-то ощущается нереально, понимаете, что со мной этого не может произойти. Как только бомбы, или [...] раненые, или что-то, смотришь как будто, так сказать, со стороны. Понимаете, вот это детское любопытство и детская уверенность в том, что жизнь-то твоя вот она, так сказать, будет все время».

8 См.: Kwon H. *Language Brokers: Children of Immigrants Translating Inequality and Belonging for Their Families*. Stanford: Stanford University Press, 2024.

9 О детстве в блокаду мы по-прежнему знаем слишком мало; из немногочисленных работ на эту тему см., например: Котов С. *Детские дома блокадного Ленинграда*. СПб.: Политехника, 2002.

10 В настоящей статье подобными кодами маркируются респонденты, которые были участниками проекта по устной истории блокады, реализованного Европейским университетом в Санкт-Петербурге в начале 2000-х.

Его воспоминания представляли собой впечатления, а не осмысленные наблюдения и не оценку пережитого: это была смесь *его личного* опыта и *личных* наблюдений с опытом и наблюдениями, полученными от *других* людей – начиная с родственников и заканчивая авторами книг о блокаде (о последнем обстоятельстве он в начале интервью не хотел упоминать). То же отмечала и Наталья Сухова (BL-1-005). В 1941 году ей было десять лет, но в беседе с интервьюером она утверждала, что мало что знает или помнит о войне и блокаде; фраза «я не помню» повторялась несколько раз. На нечто подобное обращала внимание и Софья Сухорукова (BL-1-003). По ее словам, она почти не помнит, как умирали люди, а о смертях в блокадную пору знает не из личного опыта, а в основном из книг, прочитанных позже. К сказанному женщина добавила, что вспоминать о блокаде ей не хочется. Вытекающие отсюда потенциальные методологические риски очевидны: ведь такие респонденты не делали подробных записей и не собирали устных свидетельств своих родителей или просто знакомых. Разумеется, это не повод, чтобы критиковать их намерения или сомневаться в достоверности их повествований – подобные воспоминания тоже ценны, хотя воспринимать их мы должны с определенной осторожностью.

Наконец, в-четвертых, есть еще одна серьезная проблема: мы не в состоянии определить, в какой степени интервьюируемые (осознанно или бессознательно) формировали свои воспоминания под влиянием политического контекста. В начале 2000-х, когда Владимир Путин и его режим еще не успели навязать научному сообществу собственной (и весьма жесткой) версии политической историографии Второй мировой войны и блокады, участники интервью могли свободно делиться своими воспоминаниями, не опасаясь последствий. Вместе с тем в 1990-х выжившие блокадники стали свидетелями краха СССР и всех порожденных этим государством мифов. То, за что они страдали и боролись, внезапно исчезло, сменившись нестабильностью и неуверенностью (особенно в экономическом плане, что задело в первую очередь стариков), а также отрицанием важных составляющих их идентичности. Конечно, нельзя исключать, что некоторые из опрошенных были рады открыто обсудить травму блокады и войны. Но другие, вероятно, чувствовали необходимость защитить свою прежнюю родину, соответствующим образом подгоняя под эту задачу собственные воспоминания. На основании записанных интервью сделать однозначные выводы невозможно; мы способны лишь выдвигать предположения, внимательно анализируя тексты бесед.

Мой анализ этих интервью убеждает в том, что описанные в них наблюдения и переживания соответствуют обобщенно-

ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...

ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...

му опыту, зафиксированному в блокадных дневниках и воспоминаниях, которые Даниил Гранин собрал в конце 1970-х. Иначе говоря, можно с уверенностью утверждать, что эти материалы вполне достоверно передают опыт переживших блокаду. Один из паттернов, извлекаемых из качественного анализа этих источников, состоит в том, что даже спустя десятилетия наиболее яркими для бывших детей-блокадников оставались пережитые *физические ощущения*. И это вполне объяснимо. Для получения телесного опыта не нужно обладать навыками поиска информации, выбора источников или интерпретации сведений. Голод, пожары, взрывы – реальность, вызывающая инстинктивные реакции и оставляющая мощный эмоциональный отпечаток, не требующий осмысления.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ТРАВМА: ВОЕННОЕ НАСИЛИЕ И ГОЛОД

Мы начинаем с переживаний, которые испытали все ленинградцы независимо от возраста. Неудивительно, что физическое восприятие пережитого оставалось ярким и богатым даже спустя многие годы после блокады. Авианалеты, артобстрелы, взрывы, пожары, разрушения – всему этому в воспоминаниях, запечатленных в интервью, отводилось значительное место, особенно в начале разговора. Создается впечатление, что собеседники как будто готовили почву для своих историй, намеренно начиная с потрясений и ужасов. Возможно, эти впечатления казались наиболее сильными из-за того, что они шли первыми и были получены раньше, чем их затмили более страшные последующие события. Когда началась блокада, ленинградцы могли последовательно описывать в дневниках каждый свой день со всеми его ужасами. Они испытывали шок, но, поскольку дневники велись ежедневно (или почти ежедневно), вносимые в них записи отражали развертывание блокады в реальном времени. Однако воспоминания спустя десятилетия – совсем другое дело: они сжаты и отрывочны, так как воспроизведение деталей по максимуму может оказаться для повествователя эмоционально непосильным. Период с июня по октябрь 1941 года был ужасающим, но последовавший за этим кошмар был еще страшнее; иными словами, первые месяцы вспоминать и пересказывать гораздо проще.

Некоторые из опрошенных противопоставляли последние дни мирной жизни последующим событиям: сначала они рассказывали о пребывании в пионерских лагерях или отдыхе на дачах, а затем о возвращении домой, где окна уже были заклеены крест-накрест бумагой, а повседневная жизнь изменилась

до неузнаваемости. Таковы, например, интервью Софьи Сухо-руковой (BL-1-003) и Евгении Петровой (BL-1-009). По мере того, как жизнь в Ленинграде становилась тяжелее, в воспо-минаниях респондентов на первый план выходят эпизоды физического насилия: зачастую именно они оказываются пер-вейшим и главнейшим аспектом блокадного опыта, о котором повествуют выжившие. Вадим Номоконов (BL-1-001) в нача-ле войны был четырехлетним ребенком, однако он отчетливо помнил смешанное чувство тревоги и уверенности – послед-няя, вероятно, подпитывалась государственной пропагандой и твердой убежденностью его отца в грядущей победе. В па-мяти интервьюируемого сохранились уход отца добровольцем в санитарную часть, трудное возвращение из Выборга в Ле-нинград в первые дни войны, тифозная горячка матери, ощу-

ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...



Илл. 1. Мемориальная доска, размещенная на здании библиотеки Академии наук СССР. Фото автора.

щение полнейшего одиночества в первую блокадную зиму. Начало блокады ассоциировалось у него с воздушными тревогами и походами в бомбоубежища – эти моменты Номоконов описывал особенно подробно¹¹. В его рассказах присутствуют также воспоминания о раненых, светомаскировке, военной форме. Номоконов рассказывал и о том, как жгли дрова, чтобы спастись от зимнего холода.

Авианалеты, бомбежки, стужа, работа родителей, смятение – примерно те же впечатления ярко всплывают и в воспоминаниях Лидии Дмитриевой (BL-1-002). Подобно мемуаристам, оставившим дневники, она помнила, как люди собирались у уличных репродукторов в ожидании военных сводок, поначалу порождавших растерянность и даже панику. Как и Номоконов, она тоже запечатлела в памяти мучительный путь домой из загородного поселка Песочный. Город встретил ее воем сирен, девочке впервые пришлось спускаться в бомбоубежище – этот эпизод она описывала особенно подробно. Дмитриева сохранила характерные звуки и картины своей школьной жизни военной поры. Осталось в ее памяти и то, что на работе у матери было тепло. Похожие мотивы мы видим в интервью Софьи Сухоруковой (BL-1-003). Она тоже упоминает, как, вернувшись в город из пионерского лагеря, повсюду замечала заклеенные крест-накрест окна. Значительное место в ее рассказе отводится воздушным тревогам, томительным часам в бомбоубежищах, школьным будням. Хотя она и упоминала о нехватке еды, центральными в ее повествовании стали темнота и бомбежки. Сухорукова также помнит, как люди, пытаясь согреться, жгли книги и бумагу.

В некоторых устных воспоминаниях переживания физической угрозы отражены более интенсивно, чем в блокадных дневниках. Евгения Петрова (BL-1-009), которой в 1941 году исполнилось девятнадцать лет, рассказывала о кошмаре первых недель войны: случайно попав на занятую врагом территорию, она, пытаясь вернуться на советскую сторону фронта, испытала непередаваемый страх. Она выкапывала картошку в пригороде, когда внезапно поняла, что незаметно для себя оказалась на немецкой стороне. Петрова, по ее словам, очень боялась, что из-за еврейской внешности немцы ее расстреляют. Во время интервью, вспоминая этот эпизод, она умолкла и расплакалась – настолько сильным оставалось это переживание даже спустя десятилетия.

По сравнению с другими опрошенными блокадные воспоминания Марии Васильевой (BL-1-004) кажутся более мрачными. Как и все выжившие, она ярко описывала авианалеты, артобстрелы, пожары и разрушения, но одновременно в ее по-

11 Не допуская безмерного расширения статьи, я не привожу цитаты из первоисточников в каждом подобном случае.

вестовании много внимания уделялось и иным формам страдания. Она рассказывала, насколько холодно и голодно ей было и как в 1942 году приходилось есть траву – опыт, воспринимаемый ленинградцы той поры с особым отвращением¹². Она рассказывала, как наблюдала последствия голода, истощение и цингу. Разумеется, о дефиците еды, придумывании эрзац-продуктов, голоде как таковом в анализируемой серии устных интервью говорится очень много, но тут нет той детализации, которая отличает блокадные дневники. Сказанное позволяет предположить одно из двух: или конкретно этот опыт был не столь интенсивным, или же память о нем попросту стерлась – учитывая, что человек воспринимает голод физиологически, а не визуально, а визуальные образы в силу важности зрения для нашего восприятия сохраняются в памяти дольше.

Напротив, Валентина Алексеева (BL-1-007), которой в 1941 году было шесть лет, необычайно подробно останавливалась на деталях, связанных именно с пищей: что готовили, как она ела, откуда брались продукты и так далее. Она вспоминала, как в школе получала паек по карточкам и как в 1943 году ее родителям выдали путевку в санаторий. Там семья не голодала, отчасти потому, что учреждение находилось в ведении военных; в столовой разрешалось есть досыта – но выносить еду было запрещено. Она подробно описывала, как дома ее мать варила суп-баланду и как он съедался. Вокруг между тем царил голод:

«Все время хотелось есть. Ели мы все. Я ела торф зеленый, [или по-другому] черный торф. Его продавали в стеклянных банках женщины, пожилые женщины. [...] Все продавали, кто мог достать. Это остатки, по-моему, с Бадаевских складов. Это я так предполагаю, [...] они же сгорели. [...] Вкус этого торта – тьфу, торфа, ну, творога, он назывался черный творог, когда продавали, – он такой кислый был. Почему-то кислый. Почему, я не знаю. Мы это ели. [...] Все ремни съели, которые были в доме. Варили студень. Значит, ремни – это давало клейкость, бульон застывал. Туда клали [все]: надо сказать, что лавровый лист был в семье, кто его может много съесть, перец был горошком, лист, ну, соль еще была, все это было. Так вот эта [...] масса застывала, и мы ели с превеликим удовольствием. Вот это ели, ну, там, шпроты – это вообще, и молоко было соевое, вот. А дуранда – это было золото¹³. На дуранду можно купить было все. Были люди, которые могли [ее] и продавать».

Ситуация ухудшалась по мере того, как в магазинах заканчивались продукты, а гражданскому населению сокращали даже скудные пайки. Нехватка продовольствия влекла за собой появление «черного» рынка, который пополнялся по большей части

ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...

¹² HASS J.K. *Wartime Suffering and Survival*... P. 116, 202, 272.

¹³ «Дуранда – то же, что жмыхи» (ОЖЕГОВ С.И. *Толковый словарь русского языка*. М.: Оникс, 2009. С. 283). – Примеч. перев.



за счет сомнительных источников: в одних случаях директора и кладовщики воровали продукты прямо со складов или из магазинов, в других – ответственные лица занимались махинациями с продуктовыми карточками, изымая тем самым «излишки», которые либо потреблялись, либо продавались. Ленинградцы вынуждены были обращаться к услугам «теневиков», иногда прямо на рынке, чтобы добыть дефицитные продукты. Однако жители города осуждали тех, кто был вовлечен в эти схемы – особенно заведующих и директоров магазинов, продавцов или иных граждан, не выглядевших столь же изможденными, как остальные¹⁴. Из-за этого в некоторых блокадных дневниках поднимается проблема коррупции и несправедливости; мемуаристы критически отзываются о государственных и партийных кадрах, обвиняя их в некомпетентности и продажности.

Масштабы нелегальной торговли продовольствием, согласно милицейским расследованиям, свидетельствовали о массовых хищениях¹⁵, однако в наших устных интервью 2002–2003 годов эта тема затрагивалась редко, поскольку дети и подростки либо не участвовали в «теневом» обмене, либо еще не распознавали признаков коррупции – например, не замечали, что работники булочных выглядели куда более сытыми в сравнении с обычными горожанами. Тем не менее время от времени и мимоходом интервьюируемые все же касались этого вопроса, описывая общий фон блокадной жизни. Софья Сухорукова (BL-1-003), например, упоминала о жуликоватом дворнике, который брал карточки умерших и выменивал на получаемый хлеб соседские вещи, наживаясь тем самым на страданиях и смерти. Порой голод и насилие переплетались. Алексей Цамутали (BL-1-013) объединил их в одном кратком, но выразительном эпизоде, где звучит нота сурового правосудия. Речь идет о директоре продуктового магазина, захлопнувшем двери перед разгневанной толпой голодающих людей, стоявших в очереди:

«В один из этих декабрьских дней директор магазина сказал, что он закрывает магазин, а толпа стала с ним спорить, кричать, что еще не время, но он сказал, что он закроет магазин, и действительно началась тревога... Ну, тогда очередь разошлась, а на утро узнали, что этот директор, закрыв магазин, через двор куда-то шел, и вот в этот дом на углу Куйбышевской и Большой Вульфовой попала бомба, а этого директора магазина, говорят, разорвало совершенно на куски, от него нашли только палец с обручальным кольцом. Я помню эти разговоры».

¹⁴ См. подборку фактов и дополнительных источников на ту же тему: HASS J.K. *Wartime Suffering and Survival...* Ch. 3, 7; BIDLACK R., LOMAGIN N. *Op. cit.*

¹⁵ HASS J.K. *Wartime Suffering and Survival...* Ch. 2, 7; Пьянкевич В. *Рынок в осажденном Ленинграде // Жизнь и быт блокированного Ленинграда* / Под ред. Б. Белозерова. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 122–163. Более подробно о ленинградском «черном» рынке см.: HASS J.K., LOMAGIN N. *Soviet Power under Siege* (книга находится в печати в издательстве Университета Питтсбурга).

Цамутали прямо не говорит о свершившейся справедливости, но сопоставление двух эпизодов наводит на мысль, что логика его воспоминаний именно такова: насилие, вызываемое войной и голодом, терзавшее обычных ленинградцев, дополнялось страданиями, которые причинялись им их согражданами.

Некоторые реминисценции строились на бинарных оппозициях: справедливость–возмездие, насилие–покой, холод–тепло. Воспоминание об одном могло вызывать в памяти его противоположность, подчеркивая некое подобие баланса даже в годину невероятных лишений. Об этом говорила, в частности, Софья Сухорукова (BL-1-003): она рассказывала, что жила в неотапливаемой комнате, но зато некоторые другие городские помещения, например, на ее работе, обогревались, то есть даже в условиях блокады сохранялись островки относительно комфорта и безопасности. В подобных противопоставлениях отражался, по-видимому, подсознательный поиск того, что я назвал бы *якорями нормальности*: с одной стороны, интервьюируемые описывают насилие и голод как повседневный ужас, но, с другой стороны, они неизменно упоминают людей и места, дававшие им утешение и приют. Якоря нормальности в контексте опасности и неопределенности – таков постоянный фон блокадных воспоминаний.

Любопытно, что блокадные дневники содержат больше подробностей о физическом насилии войны, чем мы находим в более поздних устных интервью, – и это объяснимо. Можно, однако, выделить важную динамику: такие впечатления были особенно яркими в первые месяцы блокады, а потом им на смену приходит своеобразная «нормализация» блокадной жизни с ее бытовыми подробностями, касающимися еды, голода, смерти. Ленинградцы действительно много писали о бомбежках, пожарах и разрушениях, но это продолжалось недолго: вскоре такие впечатления были вытеснены иными переживаниями, а физическое насилие войны превратилось в привычный фон.

ДРУГИЕ БЛОКАДНЫЕ ПРАКТИКИ, ПАТОЛОГИИ И ТРАВМЫ

Блокадный опыт, безусловно, включал множественные физические лишения, что подтверждается дневниками. Однако потрясения и травмы блокады не ограничивались только ими. Крайнее отчаяние и формируемые им поведенческие опции подталкивали некоторых ленинградцев к поступкам, которые считаются абсолютно патологическими даже в контексте крайних лишений – как в современном мире, так и (в основном) в блокадную пору. Тем не менее ленинградцы, переживавшие

ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...



блокаду, не могли игнорировать фактов такого типа. Они оставались реальностью и десятилетия спустя, но теперь уже *реальностью прошлого* – и потому их можно было избирательно забывать (в тех случаях, разумеется, когда интервьюируемый или интервьюируемая сталкивались с ними лично). Какую же картину подобных травм и их места в нарративе блокады рисуют нам устные воспоминания 2002–2003 годов?

Эти аспекты истории блокады в интервью также всплывали, хотя и не всегда с такой же детализацией и рефлексией, как в блокадных дневниках. Одним из подобных аспектов был каннибализм. Советская историография избегала этой темы, и даже после краха коммунизма каннибализм оставался болезненным вопросом, который старались обходить стороной: он упоминался лишь вскользь как одно из следствий голода. «Моральная экономика каннибализма» вообще не изучалась сколько-нибудь основательным образом. Хотя некоторые ленинградцы и пытались оправдывать людоедство как рациональную реакцию дошедших до отчаяния людей на крайний голод, большинство даже в то время воспринимало его с глубочайшим ужасом – и как сам по себе акт поедания человеческой плоти, и как знак крушения цивилизации, отмечающий возвращение человечества к звериному состоянию. В блокадных дневниках каннибализм описывался через призму страха; он, возможно, казался воплощением той грандиозной зловещей тени, что нависла над городом. На дневниковых страницах он возникает как порождение сторонних слухов или собственных догадок – появившихся, например, в моменты, когда авторы начинали замечать, что на замерзших телах, лежавших на заснеженных улицах, день ото дня остается все меньше плоти¹⁶.

Вероятно, из-за того, что опрашиваемые были в то время детьми, не слишком чувствительными к слухам о каннибализме или его признакам, в их нарративах он почти не представлен, а временная дистанция и иной жизненный опыт создают более понимающий взгляд. Например, Вадим Номоконов (ВЛ-1-001), не пожелавший подробно говорить на эту тему, высказался о людоедстве так:

«У меня такое впечатление, что есть разные фазы этого умирания от голода, и есть фаза, когда хочется есть, когда [...человек], так сказать, рассудок теряет... Почему, собственно, я и не могу, не считаю, что надо вот напрямую каннибализм осуждать. Конечно, были люди, так сказать, злостно к этому прибегавшие. Но были те, которые просто уже не ведали, что творили. Тем более, что у меня тоже была своя собственная мысль, давайте, если уж откровенно делиться. [...] Ведь умирают люди, а умирают они на улице, вот

¹⁶ Подробнее об этом см.: HASS J.K. *Wartime Suffering and Survival...* Ch. 3.

просто вмерз, и, так сказать, это вот видно, вот пальто и нога торчит. Ну что бы, так сказать, отпилить, именно отпилить, потому что все это замерзло».

ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...

Номоконов в целом разделяет интерпретацию, которая встречается во многих дневниках: каннибализм есть либо злонамеренный акт (совершаемый, например, людоедами, убивающими людей, чтобы продавать их плоть – скажем, в пирогах на рынке), либо следствие помрачения рассудка из-за голода¹⁷. Однако его трактовка, которая в блокадных дневниках, напротив, отсутствует, предполагает и нечто иное: умом он понимает, откуда такое поведение могло взяться. Поскольку устные интервью проводились спустя десятилетия после завершения блокады, в его нарративе присутствовала временная отстраненность, обусловившая явный контраст с восприятием, присущим ленинградцам непосредственно в блокадные годы: каннибализм в глазах этого респондента выступает не столько свидетельством краха цивилизации, сколько явлением, заслуживающим *как осуждения, так и жалости* – в зависимости от мотива. (Стоит напомнить, что, согласно признанию самого Номоконова, он воспринимал происходящее как ребенок, не затронутый подобным опытом, как наблюдатель, не ощущавший непосредственной угрозы, а вовсе не как участник.)

Виктор Вайнштейн (BL-1-006), которому в 1941 году исполнилось пять лет, также затронул тему каннибализма, касаясь экстремального голода первой блокадной зимы. В его краткий рассказ вошло воспоминание о том, что он вместе с матерью наблюдал своими глазами, а также предложенное ею объяснение увиденного. Этот эпизод был связан с сосисками, появившимися на прилавках Сытного рынка той зимой: мама, говорит он, сразу поняла, что их внезапное появление подозрительно. Затем интервьюируемый пояснил, что могло за этим стоять: по его словам, злонамеренные ленинградцы похищали детей, чтобы есть их или продавать их мясо на рынках. Вайнштейн упомянул и другой случай: некая мать, чьи дети умерли, вместо того чтобы похоронить, питалась трупами, поскольку лишилась рассудка (он добавил, что милиция знала об этом, но ничего не предпринимала)¹⁸.

Алексей Цамутали (BL-1-013) также упомянул каннибализм в контексте смертного отчаяния, охватившего горожан осажденного города. Подобно Номоконову и в отличие от многих других очевидцев блокадного времени, Цамутали по прошествии десятилетий тоже пытается относиться к прошлому с понимани-

¹⁷ Ibid. P. 119–120, 122–123.

¹⁸ Этот рассказ созвучен с некоторыми записями, появлявшимися в блокадных дневниках первой зимы, см.: Ibid. Ch. 2.



ем – ведь, в конце концов, Ленинград сумел пережить блокаду, избежав крушения цивилизации, чего так опасались горожане в 1941–1942 годах. Однако в его рассказе имеется одно исключение, вновь связанное с пересечением двух тем – людоедства и розничной торговли мясом. Здесь речь идет уже не о выживании, а о наживе – причем на фоне массового голода и страданий.

«Я вам должен сказать, что я больше слышал разговоры о всяких ужасах. Так вот, на наших улицах, иногда в подворотнях я видел умерших людей, которых, видимо, собирались куда-то отвезти, и, конечно, вот эти печальные проводы людей, которых везли на саночках и они были видны. [...] Потом, когда мы встречались с ребятами, то я узнал такую страшную вещь, что моего одноклассника Юрку Тимофеева мать убила вместе с младшим его братом, сварила из них студень, [...] такой случай людоедства, который был уже в непосредственной близости. Ну и про одну женщину, которая жила в нашем доме, недоброжелатели говорили, будто она ест человеческое мясо. Бог его знает, может, это была неправда. [...] Иногда мама шла на Сытный рынок в надежде что-то выменять, и я это помню; вообще этот рынок производил ужасное впечатление, там еще ко всему прочему старались обмануть. [...] Даже уже и не продукты, а какие-то свечки мы на что-то выменивали. И я почему-то помню женщину, которая всем совала такой кусок мяса, говорила, что это баранина, а ей говорили: “Знаем мы, что это за баранина”. Бог его знает, ну. [...] Вообще, конечно, маловероятно, чтоб настоящая баранина была бы в то время».

Каннибализм стал травмой, с которой ленинградцы в большинстве своем встречались опосредованно: через толкования увиденного (трупы с убывающей плотью), подозрения (странное мясо на рынке), слухи. С массовыми смертями дело обстояло иначе – с ними, а также с переживаниями утраты и скорби жители города сталкивались напрямую. Массовая гибель людей и новые практики утилизации человеческих тел сделались неотъемлемой частью блокадного ландшафта и коллективного опыта¹⁹. В основном интервьюируемые не углублялись в подробности, связанные с кончиной, захоронением и поминовением, – в силу детского возраста от них не ожидали участия в этих процессах, которые оставались уделом взрослых. Софья Сухорукова (BL-1-003) упомянула о смерти матери, но обошла детали; она также отметила, что о блокадной смерти больше знает из книг и чужих историй. Те же, кто во время войны был постарше, предложили более подробные свидетельства. Анна Степанова (BL-1-008), которой в 1941 году минуло семнадцать, была достаточно взрослой, чтобы осознавать и запоминать под-

19 Ibid. Ch. 6. Термин «утилизация тел» (*disposal of the dead*) может показаться отстраненно бесчеловечным, но именно его используют специалисты по работе с утратой, которых не надо убеждать в эмоциональной тяжести таких процессов.

робности, связанные со смертью, и даже участвовать в похоронах. Виктор Вайнштейн (BL-1-006), которому в начале войны было пять лет, тем не менее довольно детально вспоминал смерть отца:

«Мама [потом] рассказывала, но я очень хорошо помню, как он умирал. А я, все мое внимание было сосредоточено на маленькой сковородочке на буржуйке, на которой готовились для него сухарики, то есть вот эта пайка, которая у него там была, [...] разделена на такие маленькие сухарики. Я сидел, непрерывно смотрел на это, а мать пыталась его напоить, водицей вот этой сладковатой, кипяточком. Вот. И вдруг мать говорит, это я помню четко: “Все, наш папа умер”. [пауза] А она мне [потом] рассказывала, что он до этого долго-долго следил за мною глазами. А она ему говорит: “Куда ты смотришь, Хельмут?” А он говорит: “На сына смотрю”. Все. Как она только сказала, что наш папа умер, я ее спросил: “Мама, а можно я съем эти сухари?” Я знал, что это для... [пауза] Вот».

Перед нами воспоминания, исполненные невыносимой горечи: ребенок, ставший свидетелем смерти отца, осознал ее трагизм лишь годы спустя – паузы-заминки в его рассказе красноречивее слов. Позже он добавил:

«Про Новый год 1941–1942-го я только помню, что нарядили елку – тем не менее нарядили. И елка у нас стояла, когда умер отец, она стояла чуть ли не до апреля, вся осыпалась. С тех пор елки в моей, нашей семье не было никогда, даже нашим детям мы не устраивали».

Обсудив с интервьюирующим темы голода и блокадной еды – об этом говорилось ранее, – Валентина Алексеева (BL-1-007) рассказала об особенно ужаснувшем ее случае каннибализма:

«Наверное, это все же было с 1941-го на 1942 год. Тогда, когда уже люди стали просто гибнуть. [...] Там лежали люди, в снегу, уже засыпанные снегом. Потом, это мама уже говорила, там были даже места какие-то вырезаны у людей, которые что-то могли дать, какую-то пищу, ну и потом я видела вместе с ней, как-то она меня взяла с собой, мы ходили на Сытный рынок, [...] он и сейчас существует. Так там продавали такие сардельки, такие толстые и белые почему-то. Ну, мы поняли, что это пища не та. [...] Сардельки, не знаю, откуда они, чье производство. Это частным образом продавали. Все было, все могло быть. Даже как муж рассказывал, что у них там у родственников вообще сын [...] исчез, мальчик исчез. Его просто, это самое, съели. Потом вот обнаружили вещи. Поэтому все было, даже и такое. Людоедство. Вот так. Ну, что делать? Да, и потом у нас там женщина была на Зверинской, она в доме 17 жила, [...] у нее погибли дети, но она их не хоронила, она их съела. Уже мертвых съела. Вот, она, конечно, в общем-то, тронулась умом, и не знаю, как там теперь ее судьба, ходила, и в милицию ее не забирали. Они уже знали, видимо, о ней».

ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...



В жесточайших условиях блокады чужая смерть превращалась в инструмент выживания. В обычной обстановке эти сферы строго разделены: умерших провожают, соблюдая ритуалы уважения и поминания, а не извлекая из них корысть. Но блокада перевернула все нормы: иногда смерть других людей помогала ленинградцам спасти собственные жизни. Один из способов заключался в сокрытии факта кончины ради того, чтобы продолжать получать хлеб по карточкам умерших: тело оставляли в промерзшей комнате, смерть не регистрировали и на кладбище не обращались²⁰. Евгения Петрова (BL-1-009) вспоминала сцену, ярко демонстрирующую эту жуткую логику войны:

«Раз я иду, женщина идет, саночки везет, я вижу, что ребенок маленький. Ну, в одеяльце маленький. И чего у нее ума не хватало заколоть, конвертик вот этот сверху заколоть. Ветром открывает. И вижу черненькое-черненькое лицо. Она возила покойничка, вот этого ребенка, чтоб получать на него карточку. Понимаете, видимо, какая цель-то у нее была. Вот только эта. Она возила покойника-ребенка, чтобы получать вторую карточку».

Та же интервьюируемая дополнила свой нарратив еще одним показательным воспоминанием – на этот раз не о выживании через чужую кончину, а о шоке от того, насколько властно смерть вытеснила привычный порядок вещей:

«В общем, кто как ухитрялся, кто как мог. [...] Дровишек-то у нас [не было], печурка, топить надо, где дрова достать? У нас ума не хватило бы паркет выковыривать, [хотя там], где потом мы на Дворцовой набережной жили, в 1950-м переехали, там паркета не было, его [в блокаду] стопили. [...] Мы на этой стороне [жили], а на той стороне Невская лавра, кладбище. И там штабеля, мне показалось издали-то, штабеля дров. [...] Я сестре говорю: “Вечером, как стемнеет, поедem за дровами, я знаю где”. И мы едем по той стороне Обводного, подъезжаем, сворачиваем на кладбище, подходим, это были штабеля – трупы. [особенно подчеркивает слово голосом] Трупы людей. Мы как шарахнемся бежать оттуда! [смеется] Я-то все думала – дрова, я не думала, что вот так складывали людей, а там, оказывается, вот оттуда на Пискаревское кладбище их и возили. Понимаете? Вот такие дрова я видела».

В анализируемых здесь воспоминаниях практически не затрагиваются две важные темы. Первая из них – гендер²¹. Блокадный Ленинград постепенно становился все более женским городом: мужчины уходили на фронт или умирали от голода

20 Со временем режим начал бороться с этой практикой, внедрив систему перерегистрации продовольственных карточек.

21 Общий обзор гендерного аспекта блокады, а также более подробный анализ темы, подкрепляемый ссылками на соответствующие исследования, см. в: HASS J.K. *Wartime Suffering and Survival...* Ch. 4; IDEM. *Anchors, Habitus, and Practices Besieged by War: Women and Gender in the Blockade of Leningrad* // Sociological Forum. 2017. № 32. P. 253–276.

раньше женщин. В результате женщины вынужденно принимали на себя основные заботы, связанные с выживанием, прежде всего поиск, приготовление и распределение скудной пищи среди голодающих мужей, детей, родственников, а также заменяли мужчин на заводах. С этими вызовами они справлялись достойно, причем многие из них осознавали значительность женского вклада в блокадное выживание и военную победу, открыто подчеркивая ее и критикуя мужчин за кажущуюся слабость.

ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...

В жесточайших условиях блокады чужая смерть превращалась в инструмент выживания. В обычной обстановке эти сферы строго разделены: умерших провожают, соблюдая ритуалы уважения и поминания, а не извлекая из них корысть. Но блокада перевернула все нормы: иногда смерть других людей помогала ленинградцам спасти собственные жизни.

Здесь перед нами возникает вопрос: учитывая важнейшую роль женщин в выживании и победе, а также недооценку этой роли в послевоенные годы, как же сами респонденты освещали гендерные аспекты блокадной жизни? Разумеется, не стоит ждать от свидетелей блокады рассуждений в духе современных социологов, для которых гендер – базовое социальное явление, аналитическая категория и каузальная переменная. Тем не менее *какие-то* упоминания о женском вкладе и женской мобилизации в критические моменты в интервью все же встречаются. (Кстати, в сами блокадные годы не только женщины, но и многие мужчины понимали и ценили женское участие в спасении города.) Гендерный аспект, однако, всплывал в беседах не часто, а когда это все-таки происходило, то его упоминали лишь между делом и при обсуждении каких-то иных тем. Так, Софья Сухорукова (BL-1-003), вскользь отметив факт участия женщин в защите города на фронте и в тылу, сразу же обозначила важную социальную границу: если одни женщины, обладая необходимыми техническими навыками, могли реально способствовать победе, то у других таких возможностей не было.

Вторую тему, которую интервьюируемые почти полностью обходили стороной, составили патриотизм и национализм. Мы знаем, что некоторые ленинградцы предавались размышлениям о советской цивилизации и русской культуре, иногда критическим, а иногда апологетическим²², но в рассматриваемом

22 См.: Идем. *Wartime Suffering and Survival...* Ch. 7. Кроме того, Никита Ломагин и я затрагиваем эту проблему в книге «Soviet Power under Siege».



ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...

здесь наборе устных интервью респонденты очень редко упоминали патриотические или националистические сюжеты. Более того, Алексей Цамутали (BL-1-013), фактически, заявляет, что в среде блокадников патриотические чувства не были доминирующими, выступая в лучшем случае вторичными на фоне других мотивов, хотя национальные категории (например «немцы») действительно использовались, неся в себе эмоциональную нагрузку:

«В кругу тех взрослых, которых я видел, не было никогда каких-то там ультрапатриотических высказываний, но вместе с тем была какая-то такая молчаливая убежденность, что город нужно защищать во что бы то ни было. Я не берусь судить, повторяю, обо всех настроениях, какие были, но вот те люди, с которыми я сталкивался, все стояли на том, что мы будем во что бы то ни было стараться, чтобы немцы в город не вошли. Какой круг людей был вокруг меня? Говорю вам, что моя мама была учительница, мой папа был инженер, но в молодости он был артиллерист, участвовал в Первой мировой и гражданской войне, мои родители были разведены, у них были тем не менее очень хорошие отношения, и мой отец очень ко мне хорошо относился».

Позже Цамутали (BL-1-013) поделился своим отношением к тому, как блокада выглядела в зеркале официальной культуры:

Интервьюер: А вы помните, фильмы про блокаду вы смотрели?

Цамутали: «Ленинград в борьбе». Да.

Интервьюер: А вы специально как-то ходили на него?

Цамутали: Да, видите, мне было одиннадцать лет в 1942 году. А вообще я не люблю фильмов о блокаде, потому что так это там. [...] С Далем какой-то фильм был. Немножко... Как-то все это... Все-таки не хочется все это вспоминать, это уже ради вас я вспоминаю, а так...

Интервьюер: Просто в фильмах это все слишком правдоподобно?

Цамутали: Когда как. Довольно такой бутафорский фильм был по роману Чаковского «Блокада», там еще какая-то песня была сопровождающая.

Такое отношение не было редкостью – многие ленинградцы критически воспринимали изображение блокады, в котором приносились или искажались как реальность страданий, так и проявления героизма.

СОПОСТАВЛЕНИЯ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Как можно прокомментировать все то, что выжившие блокадники изложили своим интервьюерам? Можно ли выявить какие-то

устойчивые паттерны в том, что они вспомнили и чем решили поделиться? Несмотря на то, что жизненные обыкновения и прошлые привычки важны, у нас нет оснований предполагать, будто у опрашиваемых имелась какая-либо грандиозная стратегия выстраивания нарративов, служащая политическим целям. Вместе с тем не следует думать, что эти люди никак не продумывали своих речей наперед и совсем не фильтровали производимого, даже оставаясь искренними (что, кстати, весьма вероятно). Важно отметить, что во многих аспектах нарративы, воспроизводимые в устных интервью, не так уж сильно отличаются от тех, что представлены в блокадных дневниках. Это говорит о достоверности воспоминаний, несмотря на юный возраст респондентов в те годы и существенную временную дистанцию. Многие в их повествованиях могло быть осознанным, а многое, напротив, произвольным; однако сами по себе интервью не позволяют с точностью разобраться в том, что есть что.

Стремясь лучше понять, что именно выжившие в блокаду готовы были вспоминать и транслировать, мы можем предпринять беглое сопоставление их устных воспоминаний с записями блокадных дневников. Скорее всего оно подтвердит избирательность памяти и селективность в выборе нарратива, а также вновь подчеркнет то обстоятельство, что многие из опрошенных во время блокады были детьми и поэтому не могли полноценно наблюдать за происходящим, оценивая его в той же манере, как это делали взрослые. Но, хотя предпринимаемое сопоставление будет носить фрагментарный, а не систематический характер, оно может оказаться полезным для будущих исследований.

Некоторые темы равно воспроизводятся как в дневниках, так и в интервью. Один из примеров – ужас от разрушений, причиняемых авианалетами и артобстрелами. Блокадные дневники, особенно за первые месяцы осады, подробно описывают время налетов, последствия бомбардировок и чувство страха, которое пронизывало ленинградцев, будь то застигнутых обстрелом врасплох на улице или дома или успевших укрыться в темных и холодных подвалах-бомбоубежищах. Интервьюируемые в своих воспоминаниях передают схожие впечатления: немецкие авианалеты, начавшиеся после того, как город оказался в пределах досягаемости самолетов люфтваффе, описываются ими не так ярко, как в дневниках, но все же занимают значительное место в их рассказах. Иначе говоря, эти события оставили в памяти респондентов глубокий след, оказавшись потом темой, которую респонденты были готовы открыто обсуждать. Эту готовность вполне можно объяснить: ведь немцы однозначно были злодеями, и, хотя конкретно эта травма была ужасающей, она не выходила за рамки обычного военного опыта.

ДЖЕФФРИ ХАСС

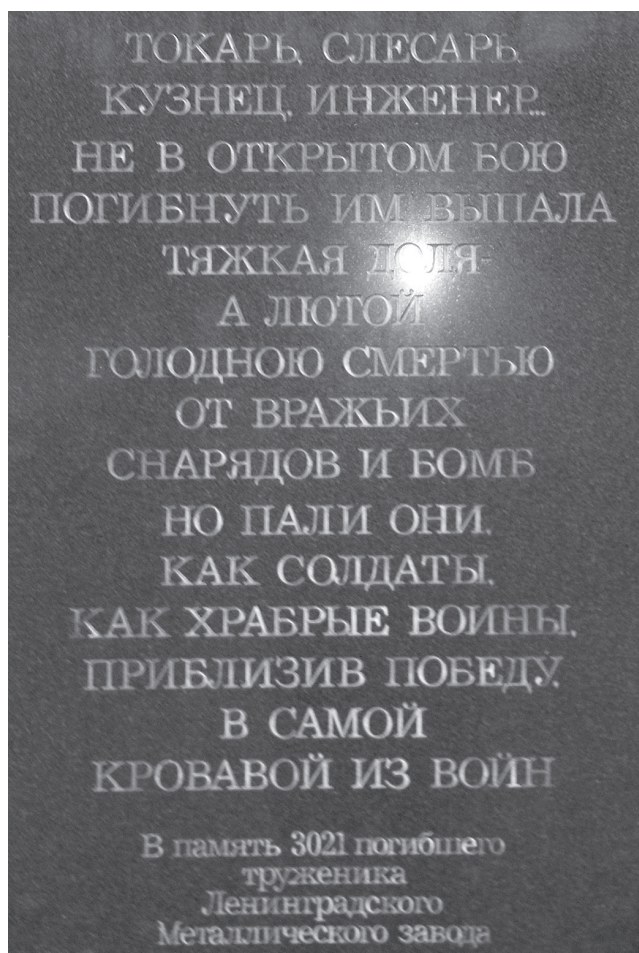
СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...



ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...

Илл. 2. Мемориальная
доска в память о по-
гибших в годы блокады
рабочих и служащих
Ленинградского метал-
лического завода на
Пискаревском мемори-
альном кладбище. Фото
автора.



Хотя интервьюируемые могли и не соприкасаться с «черным» рынком напрямую (и потому почти не упоминали о спекуляции или коррупции), в некоторых случаях они целенаправленно не желали углубляться в определенные темы. Смерть и каннибализм относились именно к таким запретным сюжетам. Авторы же блокадных дневников, в отличие от интервьюируемых, зачастую подробно и мучительно размышляли об этих явлениях – особенно в первую блокадную зиму, когда и смерть от истощения, и случаи людоедства не только имели место, но и подрывали привычные представления о нормальной советской жизни²³. Фактически, ленинградцы *вынуждены* были пройти через каннибализм и массовую гибель, чтобы преодолеть шок, страх, безнадежность. Осмысляя эти явления в дневниках, жители города фиксировали их ненормальность или аморализм,

23 См.: ИДЕМ. *Wartime Suffering and Survival...* Ch. 3, 6.

сохраняя тем самым хоть какое-то ощущение морального порядка в мире, который рушился на глазах. Кроме того, письменные размышления о людоедстве и смерти превращались в способ сохранить нравственные ориентиры и противостоять дегуманизации, которую несли с собой нацисты и война. Одной из важных особенностей устных интервью стало то, что респонденты, которым в годы блокады было по семнадцать лет или чуть больше, рассуждали о каннибализме и массовых смертях гораздо подробнее – вероятно, потому что интенсивнее впитывали происходящее или были менее защищены от этих мрачных реалий.

Стоит упомянуть и еще об одном отличии. В то время как участники устных интервью нередко затрагивали и более поздние годы своей жизни, выходя за хронологические рамки блокады, авторы блокадных дневников обычно завершали повествование окончанием осады или войны. Хотя интервью начала 2000-х были посвящены блокаде, многие опрошиваемые испытывали потребность рассказать и о своем дальнейшем пути, причем не всегда связывая его с блокадным опытом. В какой-то мере это объясняется тем, что большая часть их жизни пришлась на послевоенные годы. Но отсюда рождается и гипотеза о том, что интервьюируемые, помимо прочего, стремились заново утвердить ценность своей жизни – в особенности послевоенной советской жизни – в тот исторический момент, когда они уже оставили активную трудовую деятельность и вынужденно наблюдали распад СССР и трудности 1990-х (об этом говорил, например, Виктор Вайнштейн, BL-1-006). Сказанное также свидетельствует о том, что многие опрошиваемые не желали ограничивать свою идентичность исключительно терминами блокады – они ощущали себя чем-то большим, нежели просто блокадниками. Такое предположение заслуживает дальнейшего исследования; в частности, перспективным представляется сопоставление упомянутых нарративов с дневниками, которые, описывая блокаду, велись и в последующие годы – если, разумеется, подобные дневники сохранились в достаточном количестве.

В заключение я возвращаюсь к вопросу, поставленному в начале этого эссе: в какой степени нарративы о блокаде – как ранние, так и поздние – формировались под влиянием властных структур, а в какой являлись результатом самостоятельного и индивидуального осмысления? Хотя систематическое сравнение блокадных интервью и дневников мною не проводилось – это задача для будущих исследований, – я готов предложить некоторые предварительные основания и направления для дальнейшей работы. В значительной степени темы, поднимаемые в интервью и дневниках, совпадают. Это совпадение

ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...



ДЖЕФФРИ ХАСС

СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЕТ:
ЧТО ПОМНЯТ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
БЛОКАДНИКИ...

не абсолютно, но мы видим сходные сюжеты, детали, интерпретации. Отличия, как уже отмечалось, конечно, есть, однако степень сходства производит впечатление. Это позволяет выдвинуть два альтернативных предположения: 1) пережившие блокаду испытывали ощутимое влияние специфических социально-политических факторов, которые формировали их восприятие и нарративы как в блокадный период, так и позже, закрепившись в их привычках и субъективности; 2) ленинградцы сталинской эпохи чувствовали себя достаточно вольно для того, чтобы фиксировать свои переживания и свой опыт, не оглядываясь на власть, походя в этом на выживших блокадников 2000-х, вспоминавших о прошлом в то время, когда прежняя советская гегемония уже рухнула, а новая постсоветская еще не сложилась. Дальнейшее сравнение дневников и интервью позволило бы уточнить реальную способность большевизма и сталинского режима формировать субъектность советских граждан нужным для себя образом. Тот факт, что эта тема заслуживает дальнейшего изучения, не вызывает никаких сомнений.

*Авторизованный перевод с английского Андрея Захарова, доцента
кафедры теоретической политологии факультета политологии
РГГУ*